

НИКИТА УШАКОВ

ЦИКЛ «РАЗЛОМЩИКИ» · КНИГА 1

A dark, atmospheric illustration of a man with a serious expression, wearing a dark, high-collared jacket. He is holding a glowing, fiery orb in his right hand. A bright, jagged lightning bolt strikes down from the top left, illuminating the scene. The background is dark and moody, with faint silhouettes of buildings.

ПУСТОКРОВНЫЙ

18+

Никита Ушаков

Пустокровный

<https://litres.ru/74074404>

SelfPub; 2026

Аннотация

Родовой Камень показал во мне ноль. При всём Совете, под священным кристаллом, мой род признали пустым – а значит, сильные соседи вправе забрать наше имя, наши земли и саму нашу кровь. Кто упрекнёт их за то, что прибрали пустое место? А потом наследник сильнейшего рода ударил по мне родовым полымём – чтобы добить позором при всех. И его хваленый дар рассыпался пеплом у меня в ладони. В мире, где вся сила – это наследуемая Кровь, я не слабый. Я тот, об кого их Кровь гаснет. Пустота, что распускает чужие дары, как плохо завязанный узел, – древнее и страшное, чего Навь не видела веками. Против меня их аристократия бессильна, и они ещё не поняли почему. Я подниму угасший род. Не мольбой – их же кодексом, при их же свидетелях. Так, чтобы каждый, кто нас вычеркнул, увидел, как просчитался. Меня звали пустокровным. Они ошиблись дважды. Кровь – не то, что тебе дали. Кровь – то, что ты не предал.

Содержание

Глава 1. Пустая кровь	4
Глава 2. Что во мне	14
Глава 3. Достоинство в нищете	29
Глава 4. Старый двор	42
Глава 5. Первый из тех	57
Глава 6. Велемир	71
Глава 7. Без зова	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Никита Ушаков

Пустокровный

Глава 1. Пустая кровь

Род Заряновых угасал красиво. По крайней мере, мы старались, чтобы со стороны это выглядело именно так.

Я шёл через Большой Терем последним из наследников – так велел обычай, ставивший роды по старшинству Крови, а нас, Заряновых, давно отодвинули в самый хвост. Под высокими сводами, расписанными зарёй и грозами давно мёртвых битв, собрался весь цвет Нави: главы родов в шитых золотом ферязях, их наследники, дознатели Совета, бояре, чья кровь текла от первых, кто пришёл в этот мир, когда он ещё был молод. Воздух пах воском, дорогими притираниями и тем особым холодком, какой бывает там, где много силы и мало милости.

Я был одет в лучшее, что у нас осталось. Лучшее – это, значит, кафтан, который Млада перешивала три ночи, скрывая, что прежний хозяин ткани был вдвое шире меня. Сапоги начищены так, что почти не видно, где трещит подошва. Достоинство стоит дёшево, если уметь его носить. А носить его нас, Заряновых, ещё не разучили – это последнее, чего у рода не отнять, потому что это единственное, что не про-

даётся за долги.

– Держи голову, – тихо сказал у меня за плечом Тихомир. Старый дядька шёл на полшага позади, как положено воину при наследнике, хотя воевать ему было уже не с кем, а наследник у него остался один – я. – Они пришли смотреть, как ты сломаешься. Не давай зрелища.

– Не дам, – ответил я одними губами.

Млада шла по другую руку, прямая, как тетива. Сестра держала род на своих плечах с того дня, как схоронили отца, и научилась улыбаться так, что улыбка резала не хуже ножа. Сегодня она не улыбалась. Сегодня нас привели на смотрины Крови – обряд, который Совет правит раз в три года, чтобы измерить силу молодых наследников и записать, чья кровь чего стоит. Для сильных родов это праздник. Для нас – приговор, который вынесут при всех.

Посреди Терема, на возвышении, лежал Камень.

Родовой Камень Совета – глыба тёмного, как ночная вода, кристалла в рост человека. Древний, как сама Навь. Когда наследник касался его и пускал в него свою Кровь, Камень отзывался: вспыхивал цветом рода, и по высоте, по чистоте, по яркости свечения Совет читал, чего стоит молодая ветвь. Чем древнее и чище кровь, тем выше горит. Так в Нави мерили людей. Так мерили всегда.

Наследники подходили один за другим.

Сын рода Светловых зажёл Камень ровным золотым столбом – по залу прошёл одобрителный гул. Дочь Мещёрских

– глубоким пурпуром, и старая княгиня Мещёрская позволила себе кивнуть. Кровь пела в Камне, роды считали друг друга глазами, шептались, делали ставки на будущие браки и союзы. Всё как всегда. Всё по старшинству.

А потом к Камню вышел Гордей Бельский, и зал подобрался.

Бельские давили нас третий год. Сильный, богатый, наглый род, чьи земли обступили наши со всех сторон, как вода обступает тонущий островок. Они выкупили наши долги, прибрали наши покосы, и теперь им оставалось малое – забрать имя. Гордей, наследник, был мне ровесником, но смотрел на меня так, как смотрят на грязь под сапогом, которую неловко счищать на людях.

Он коснулся Камня – и тот вспыхнул багровым пламенем чуть не до сводов. Кровь Бельских была сильна, что правда, то правда. Зал отозвался рукоплесканием. Гордей обвёл Терем взглядом победителя, и взгляд этот, обойдя круг, остановился на мне. Он улыбнулся – широко, сыто, предвкушая.

– А теперь, – объявил распорядитель Совета, сверившись со свитком, и в голосе его прорезалась та брезгливая жалость, какой говорят о покойниках, – род Заряновых. Наследник Радмир.

По залу прокатился смешок. Тихий, воспитанный – здесь умели смеяться так, чтобы потом нельзя было призвать к ответу. Я слышал, как за спиной кто-то сказал вполголоса: «Пустокровный пожаловал», – и кто-то другой хмыкнул в

ответ.

Пустокровный. Это прозвище приклеилось ко мне с малолетства, когда стало ясно, что дар рода Заряновых во мне не проснулся. У каждого рода свой дар, своя печать в Крови, передаётся из поколения в поколение. У Заряновых был «зарь» – так звали его в старых свитках, хоть никто уже и не помнил толком, что он давал; род угасал так давно, что дар не показывался три поколения. А во мне Камень не находил и тени. Пусто. Ноль. Будто и нет во мне крови вовсе.

Я пошёл к возвышению.

Я шёл сквозь этот выверенный, воспитанный смех, и держал голову, как велел Тихомир, и думал о том, что унижение – вещь привычная, если носить его каждый день с детства, как ту одежду с чужого плеча. К нему привыкаешь. Оно перестаёт жечь. Остаётся только холодный, ясный расчёт: пережить этот час, не дать зрелища, увести Младу и Тихомира домой, и завтра снова искать, чем заткнуть очередную дыру в умирающем хозяйстве рода.

Я положил ладонь на Камень.

Камень был холодный и гладкий, как лёд на реке в начале зимы. Я толкнул в него свою Кровь – так, как учил отец, как учат каждого наследника: открой жилу души, пусти силу рода в кристалл, и пусть он скажет, чего ты стоишь.

Камень остался тёмным.

Ни искры. Ни тени свечения. Тёмная вода кристалла даже не дрогнула, будто я касался его не живой рукой, а перчат-

кой, набитой соломой. По залу прошелестел вздох – не удивления, нет. Удовлетворения. Они получили то, за чем пришли. Род Заряновых при всём Совете, под священным Камнем, признан пустым. Бумага написана, печать поставлена. Теперь Бельские могут забрать имя без всякого стыда – кто упрекнёт сильных за то, что они прибрали пустое место?

– Пусто, – огласил распорядитель, и в свитке закрипело перо. – Род Заряновых, наследник Радмир: Кровь не отзывается. Запись внесена.

Я убрал руку с Камня. Лицо я держал. Это я умею – держать лицо, когда внутри обвал. Я повернулся, чтобы уйти на своё место в хвосте, и пережить ещё час, и увести своих домой.

Но Гордею Бельскому одной бумаги было мало.

– Постой, Зарянов, – окликнул он, выходя на середину, и голос его разнёсся под сводами лениво и громко. – Совет записал, что в тебе пусто. А мне вот любопытно. Камень – он мёртвый, он мерит кровь. А ну как в тебе хоть на холопский тычок что-нибудь да есть? Давай проверим по-нашему, по-боярски. По-честному.

Он поднял руку, и на ладони его, свиваясь, набух багровый сгусток родовой силы Бельских – «полымя», бьющее жаром и волей. Этим полымем Бельские триста лет жгли врагов на дуэлях чести. Удар такой силы человека без дара не калечит. Убивает.

– Гордей, – резко сказал кто-то из старших Бельских, при-

вставая. Даже им показалось слишком.

– Дружеская проверка, – не оборачиваясь, бросил Гордей, и в голосе его была та весёлая жестокость, какой балуются те, кому всё сходит с рук. – Если в нём есть кровь – заслонится. Если пусто – так и невелика потеря, верно? Пустое место.

Распорядитель замешкался со свитком. Совет молчал – а молчание Совета – это тоже приговор. Никто не вступился за пустокровного. Заслонить меня было некому: Тихомир рванулся было с места, но между нами были три ряда бояр и весь вес обычая, а Млада сжала кулаки так, что побелели костяшки, и я видел в её глазах, что она сейчас бросится и погибнет вместе со мной, потому что больше у неё ничего не осталось.

И в этот миг, когда багровое полымя сорвалось с ладони Гордея и пошло на меня, неся жар и смерть, во мне впервые в жизни что-то открыло глаза.

Не сила. Я не почувствовал силы – я и не знал, что это такое, никогда не знал. Я почувствовал зрение. Будто с глаз сдёрнули повязку, которую я носил, сам того не ведая, все двадцать лет.

Я увидел шов.

Полымя Бельского, летящее в меня, перестало быть стеной огня. Я увидел, как оно соткано – из тонких нитей воли и крови, свитых в жгут, и в этом жгуте, как в любой пряже, был узел, начало, тот единственный стежок, на котором держится всё полотно. Я видел его так ясно, будто Гордей протянул

мне свою силу на ладони и показал: вот здесь я её завязал.

И я потянул за этот стежок.

Не рукой. Чем-то, чему у меня не было названия, – волей, изнанкой, той частью себя, которую Камень не сумел нащупать, потому что её нельзя зажечь, ею можно только гасить. Я ухватил узел чужого полымя и распустил его, как распускают плохо завязанный шнур.

Багровое пламя, не долетев до меня и на локоть, осыпалось. Не погасло – именно осыпалось, рассыпалось искрами и пеплом, будто его никогда и не свивали. А следом, по той же нити, что вела к Гордею, отдача хлестнула обратно – в него. Гордей Бельский, гроза дуэлей, наследник сильнейшего рода, вскрикнул и рухнул на колени, схватившись за руку, из которой только что ушло его триста-лет-копленное полымя. Лицо его перекосило не от боли даже – от ужаса. Так пугается человек, у которого отняли то, что он считал собой.

В Тереме стало очень тихо.

Я стоял невредимый там, где должна была остаться обугленная тень пустокровного. Стоял и сам не понимал до конца, что сделал. Руки мои были пусты. Камень за спиной по-прежнему чёрен и мёртв – он не зажёгся, не отозвался, он так и читал во мне ноль.

Ноль. А наследник Бельских стоял на коленях с погасшей Кровью и смотрел на меня снизу вверх так, как смотрят на нечисть.

Вот тогда я и понял первое, что определит всю мою новую

жизнь, хотя слов для этого у меня ещё не было. Камень не лгал. Во мне правда было пусто – в том смысле, в каком пусто в нём ничего не зажечь. Моя кровь не светит. Моя кровь – та, о которую гаснут чужие огни. Я не слабее одарённых. Я то, против чего их дар бессилён.

В мире, где сила – это наследуемая Кровь, я был не браком. Я был концом их арифметики. Просто никто, и я в первую очередь, об этом ещё не знал.

– Что... – прохрипел Гордей, поднимаясь, цепляясь за руку родича. – Что ты сделал, пустокровный?

– Ничего, – сказал я.

Это было почти правдой, и потому прозвучало страшнее лжи. Я и впрямь не сделал ничего, что умеют делать в Нави. Я не зажёг, не ударил, не пролил крови. Я просто развязал то, что он завязал. И от этого «ничего» наследник сильнейшего рода стоял с пеплом вместо силы, а весь Совет молчал, не зная, как это записать в свиток.

Я обвёл взглядом зал. Те же лица, что минуту назад смеялись воспитанным смехом, теперь смотрели иначе. Не с уважением – до уважения было далеко. С тем первым, опасливым непониманием, с какого начинается либо страх, либо охота. Я ещё не знал, что из этого опаснее.

И только один человек в Тереме смотрел не так, как все.

В дальнем ряду, среди дознателей Совета, стоял немолодой боярин в неприметном тёмном платье – из тех, кто на смотринах не блистает Кровью, а смотрит и запоминает. Ве-

лемир, дознатель. Я не знал тогда его имени. Я просто отметил взглядом, как все остальные глазают на коленопреклонённого Гордея, а этот один смотрит на меня. Внимательно. Без смеха и без страха. Так смотрит охотник, наткнувшийся в чаще на след зверя, которого считали выведенным под корень триста лет назад.

Он чуть склонил голову – будто отмечая меня галочкой в каком-то своём, невидимом свитке.

– Радмир, – тихо позвал Тихомир, наконец пробившийся ко мне сквозь оцепеневших бояр. Старый воин был бледен, и в глазах его мешались страх и что-то ещё, чему я тогда не нашёл названия, а после понял – надежда. – Уходим. Сейчас же. Пока они не опомнились.

Мы уходили из Большого Терема втроём – пустокровный наследник, его сестра и старый дядька, – и нам уступали дорогу. Впервые за много лет роду Заряновых уступали дорогу. Не из почтения. Из того, что сильнее почтения и старше его: из непонимания, которое боится.

За спиной осталась запись в свитке Совета: «Кровь не отзывается». А рядом с ней, незаписанное ни в один свиток, лежало то, чего Навь не видела триста лет и о чём я сам узнаю ещё не скоро.

Пустую кровь Заряновых сегодня списали при всём честном Совете. Так когда-то списывают изношенное, ненужное, отслужившее.

А списанному, как я начал догадываться уже тогда, выхо-

дя под высокими сводами на холодный навий рассвет, нечего терять. И спрашивать с него тоже некому.

Значит, спрашивать буду я.

Глава 2. Что во мне

Мы шли домой молча.

Навь встречала нас холодным вечером с запахом прели и старого дерева – тем запахом, который здесь привыкаешь считать воздухом. Большой Терем остался за плечом, и огни его в темноте казались далёкими и равнодушными, будто он уже отстранился от произошедшего – дескать, камень не лжёт, в свитке стоит печать, и что бы там ни случилось с чужим даром Бельского, это не его дело, не его забота.

Тихомир шёл справа, чуть ссутулившись – старый воин в старом кафтане, который носил достоинство так же привычно, как шрамы. Млада – слева. Я слышал, как у неё тихонько дрожали пальцы, когда она поправляла рукав, – не от холода, а от того, что держалась слишком долго и слишком прямо.

– Радмир, – начала она.

– Молчи, – остановил Тихомир, не оборачиваясь. – Ещё улицы.

Млада умолкла. Я был ей благодарен.

На улицах Нави всегда есть чьи-нибудь уши – уши родов, которым нет дела до твоих бед, кроме одного: как их обернуть в свою пользу.

Я думал о другом.

Не о том, что сделал, – как раз это я понимал меньше всего. Я думал о том, что видел. О том, как полымя Бельского,

летающее в меня, вдруг стало понятным. Как чертёж, который долго держали свёрнутым в трубку, а потом развернули, и ты видишь сразу все линии, все связи, все узлы.

Шов. Я видел шов.

Место, где сила Гордея была соткана в удар – не как стена, а как ткань, у которой есть начало и конец, и если потянуть за то начало, ткань рассыплется. Я потянул. Она рассыпалась.

Это казалось простым. Таким же естественным, как поднять с земли камень, который кто-то положил неудачно.

Но зал смотрел на меня так, будто я сделал нечто, запрещённое самим устройством мира.

Может быть, так и было.

* * *

Родовой двор Заряновых принял нас темнотой и тишиной.

Некогда здесь, говорят, жгли огни во всех окнах. Некогда при воротах стояла стража. Теперь стража – это я, Тихомир и Млада; огни – это одна свеча в сенях, которую Млада бережёт, как иные берегут родовые реликвии.

Я знал каждую трещину в этих воротах, каждый скрип доски на крыльце, каждый запах внутри. Дом не давал ни тепла, ни пространства, ни роскоши – но он давал то единственное, чего нельзя было отнять: имя. Пока Заряновы держали этот двор, имя существовало.

Мы вошли. Тихомир запер засов. Млада зажгла ещё одну свечу – нарушила режим. Я заметил это и не сказал ничего. Она заслужила свет в этот вечер.

– Теперь говори, – разрешил Тихомир, усаживаясь к столу с тем видом человека, которому жизнь давно заменила удивление спокойствием.

Я сел напротив. Помолчал.

– Я не знаю, что это было.

– Я знаю, – сказал Тихомир.

И замолчал.

Этот человек умел молчать с той же плотностью, с какой другие говорят. Молчание Тихомира всегда что-нибудь ве-сило.

– Говори, – попросил я.

Он поднял на меня взгляд – тёмный, старый, в котором было что-то такое, чего я прежде не замечал. Не страх. Что-то похожее на страх – но изнанкой: не того боятся, чего не знают, а того, о чём давно догадывались и всё же надеялись ошибиться.

– Сначала ты, – сказал он. – Расскажи, что видел. Подробно. Слово в слово.

* * *

Я рассказал.

О шве. О том, как полымя Гордея в полёте стало – нет, не

полымею, а узором из нитей, связанных определённым образом, и узор был понятен мне, как понятна плохая ложь: она никогда не держится во всех местах сразу, всегда есть место, где подвязано слабо. Я рассказал, как потянул за этот слабый узел – не рукой, не каким-нибудь усилием тела, а иначе. Волей, изнанкой. Тем, у чего не было имени, потому что этому никогда не учили.

Рассказал о том, что произошло после, – как отдача прошла обратно по нити к Гордею.

И рассказал ещё об одном, о чём не говорил при Младе на улице. О том, что когда я смотрел на Гордея – ещё до того, как он поднял руку, – я увидел шов и в нём самом. Не в его даре. В нём. В том, как он стоит, как держит тело, где в нём есть что-то настолько плотно свитое, что одно неловкое движение – и оно разойдётся. Я не умел ещё читать это как слова, но я видел это, как видят признаки непогоды в цвете неба.

– Всё? – спросил Тихомир.

– Всё.

Он кивнул. Сложил руки на столе. Долго смотрел на огонь.

– Дед твой, – сказал он наконец, – говорил мне об этом однажды. Один раз, в ночь, когда напился. Назавтра сделал вид, что не было никакого разговора. – Тихомир усмехнулся – коротко, без веселья. – Понимаешь, что это означает?

– Что дед напивался. Это я знал.

– Это означает, что он боялся. А дед твой боялся мало чего на свете. Боялся только того, что могло погубить не его, а тех, кого он любил.

Я молчал.

– «Зарь», – произнёс Тихомир, и слово это он выговорил тихо, будто опасался, что стены услышат. – Так это называлось в старых свитках. Дар рода Заряновых. Тот, который Совет давно считает угасшим.

– Камень его не видит.

– Камень видит то, что светит. – Тихомир поднял на меня взгляд. – Твоя кровь не светит. Твоя кровь гасит. Это не пустота, Радмир. Это другой конец той же нити.

* * *

Млада сидела в углу и слушала. Я видел, как она держит себя – прямо, руки на коленях. Единственный знак, что ей не по себе: она не шила. Обычно в её руках всегда было что-нибудь – с иглой или без неё. Нечем занять руки – значит, дело плохо.

– «Зарь» – это не боевой дар, – продолжал Тихомир. – Он не зажигает. Он не рубит. Он видит, как устроено, – и развязывает, если хочет. Дар Заряновых появился не для войны. Он появился для тех времён, когда Навь умела не только воевать, а ещё и читать ткань мира, и чинить её там, где рвётся. Но с тех пор прошло долго. Те, кто помнит, зачем он нужен,

мертвы. Те, кто остался, знают одно: он страшен. – Он помолчал. – Потому что против него не устоит никакая Кровь.

Я понял тогда, что именно читал в лицах бояр, пока мы уходили из Терема. Не удивление. Первый зов страха перед тем, чего нельзя заткнуть деньгами, связями и силой рода.

– Потому они и молчали, – сказал я.

– Потому и молчали. – Тихомир кивнул. – И поэтому ты тоже будешь молчать. Слышишь меня?

Я слышал.

– Никому. Ни слова о том, что ты видишь. Ни слова о шве, о нитях, ни слова о том, что кровь Бельского рассыпалась сама по себе. Пусть думают, что произошло недоразумение. Пусть думают, что Гордей оступился. Пусть думают всё, что им угодно, – главное, чтобы не думали правды.

– Почему?

Тихомир посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который задал правильный вопрос не в то время.

– Потому что те, кто знает слово «зарь» и что за ним стоит, захотят одного: чтобы этого дара не было. Не тебя убить, Радмир, – дар убить. Уничтожить кровь, пока она не поднялась. Это делали однажды. Именно это и сделало Заряновых нищими.

Это была первая ночь, когда я начал думать о нашем падении не как о случайности или слабости, а как о чьём-то намеренном решении.

Той же ночью я узнал о цене.

Тихомир ушёл спать незадолго до рассвета – старые кости, говорил он всегда, требуют горизонтального положения раньше, чем голова успевает кончить думать. Млада задремала на лавке, укрывшись единственным тёплым платком. Я остался один у гаснущей свечи.

И увидел.

Не специально. Просто – увидел, как оно есть.

Свеча горела швом. Не пламенем – швом: тонкой нитью тепла и воска, свитой до точки, откуда её разматывали вниз, к основанию. Я видел, где кончится воск. Я видел, когда погаснет огонь – не угадывал по длине, а видел, как видят написанное.

Потом я посмотрел на Младу.

Это была ошибка.

Нет. Не ошибкой. Просто тем, что изменилось навсегда после этого момента.

Она спала – моя сестра, которая держала наш род на плечах с тех пор, как схоронили отца. Которая перешивала кафтаны и улыбалась так, что улыбка резала. Она спала, и я увидел не сестру, не шов платья, не трещины в стене за ней. Я увидел её саму. Не в том смысле, в каком видишь человека рядом. В том смысле, в каком видишь: вот здесь она устала

больше, чем сама знает; вот здесь в ней что-то туго завязано и долго не развяжется; вот здесь – совсем маленькое, почти незаметное – место, где она ломалась и срослась не совсем ровно.

Смертность.

Вот как это назвать. Не болезнь, не рок – просто то, что у каждого живого есть поперечный шов, сквозь который уйдёт сила, когда придёт время. Я видел его.

И сразу перестал смотреть.

Потому что понял: это не то, что надо видеть в тех, кого любишь. Это ломает что-то внутри, чего потом не починить. Я не хотел знать, когда уйдёт Млада. Я не хотел знать, когда уйдёт Тихомир. Это был груз, который кровь навязала мне вместе с даром, и я не был уверен, что умею его нести.

Тогда же, в предрассветный час, когда свеча догорела точно туда, куда я видел, меня согнуло над лоханью.

Кровь.

Немного. Горьковатая, тёмная – не та кровь, что идёт от раны, а та, что идёт изнутри, когда что-то перетянута. Тело платило за то, что я сделал в Тереме. Платило не сразу, как бывает с настоящими долгами: ждало ночи, ждало, пока я один, и предъявило счёт.

Я вытер рот. Лёг.

Решил не говорить Младе.

Утром Тихомир нашёл меня бледным и понял без слов.

– Кровь, – сказал он. Не спросил.

– Немного, – ответил я.

– Это откат. – Он сел рядом. – Зарь гасит чужое и жжёт своё. Сила уходит в пустоту, которую ты создал, и часть её берёт с тебя. Чем больше погасил – тем больше берёт. Гордей вложил в тот удар много. Ты заплатил по его счёту.

Я обдумал это.

– Значит, если я гащу сильного, я могу...

– Можешь надорваться. – В голосе Тихомира не было ни тревоги, ни жалости – только та прямота, которая у него заменяла и то, и другое. – Слепнешь на швы, когда перегружен. Тело не держит. Это не слабость и не болезнь – это устройство. У каждого дара есть цена, Радмир. Это твоя.

– Хорошая цена, – сказал я.

– Терпимая. – Тихомир помолчал. – Лучше та цена, что знаешь, чем та, что по незнанию платишь дважды.

Это была его манера. У Тихомира всегда находилось при словье – тёмное, старое, из тех, что не объяснишь, но запоминаешь. «Лучше та цена, что знаешь». Будто он носил в голове целый свиток таких присловий, сшитый воедино со всеми поколениями Заряновых, которым служил прежде меня.

– Ты знал деда, – сказал я.

– Знал.

– Он тоже видел швы?

Тихомир долго молчал. Потом:

– Нет. Дед твой видел другое. Видел, как скрепляется. Как починить, где надорвалось. Две стороны одного полотна. – Он поднял глаза. – Понимаешь? Зарь – это не один дар. Это два. Один чинит. Другой гасит. В каком-то поколении одно из двух исчезло, а другое угасало вместе с родом. В тебе проснулось одно.

– Почему одно? Почему не оба?

– Спроси у тех, кто это сделал, – сухо ответил Тихомир.

– Мне ответа не давали.

Снова то же: сделал. Не «произошло», не «так вышло» – сделал. Кто-то принял решение.

* * *

Я начал учиться.

Не в том смысле, в каком учат наследников родов: упражнения, ступени, контролируемый выход силы под присмотром. Ничего такого не было при нашей нищете. Тихомир учил иначе – разговорами, задачами, историями из старых времён, которые он помнил лучше, чем позавчерашний день. Он говорил, я слушал. Иногда я видел шов в его словах – не в смысле «он лжёт», а в смысле «вот здесь он чего-то не договаривает, потому что думает, что мне рано». Но я не

тянул за эти швы. Время было.

– Не смотри на людей, пока не научишься закрываться, – говорил он. – Это как с огнём: сначала учатся не жечься, потом уже готовить.

– Как закрываться?

– Не знаю, – признал он. И это, пожалуй, было самым странным в Тихомире: он умел говорить «не знаю» без стыда. – Твой дед умел. Я его не спрашивал, как, – не думал, что понадобится. Придётся тебе дойти самому.

– Полезный совет.

– Лучших нет. – Он взял с блюда кусок хлеба – жёсткого, дневного, – откусил. – Зарянов никогда не жил в достатке знания, Радмир. Всегда – в достатке необходимости.

Я запомнил это. Не как мудрость – как факт, который точнее всего описывал то, как мы жили и как, вероятно, будем жить ещё долго.

Тихомир ел хлеб и думал вслух, а я сидел напротив и думал про себя, и, может быть, это и был весь наш университет – этот стол, этот хлеб, этот старик, который знал чуть больше меня и был согласен отдать это знание без условий и без платы.

Единственный человек, который не отвернулся.

Единственный, перед которым я не держал лицо.

Бельские прислали письмо на третий день.

Не гонца с устным требованием – письмо. Запечатанное родовым знаком, в хорошей бумаге, написанное красивым почерком. Когда богатый и сильный пишет бумагой и хорошим почерком – это означает, что за этой красотой стоит нечто, от чего дрожит не одна рука, пока пишет, и даже не одно поколение.

Млада принесла его мне. Положила на стол. Не сказала ничего – только по взгляду было понятно, что она уже прочла.

Я распечатал.

Глава рода Бельских – не Гордей, а его отец, старший и опытный, – напоминал. Напоминал вежливо, с церемониями, с подобающими формулировками. Напоминал, что по долговым свиткам, оформленным в надлежащем порядке, с печатями Совета, срок первого векселя истекает через тридцать дней. Что сумма превышает то, что Заряновы способны покрыть денежными средствами. Что, понимая затруднительное положение достойного рода – именно так: «достойного рода», с уважением, с благожелательностью, – Бельские готовы рассмотреть иные формы урегулирования. А именно: передачу части земель, покосов на восточной границе – некогда спорных, а ныне и так де-факто обрабатыва-

емых людьми Бельских, – или же, в качестве альтернативы, оформление брачного договора с наследницей Заряновых, госпожой Младой, на условиях, обговариваемых отдельно.

Я прочёл это дважды.

Положил бумагу на стол.

– Тихомир, – позвал я.

Старый дядька вошёл из сеней. Прочёл через плечо. Долго молчал.

– Вот и вся вежливость, – сказал он наконец.

– Тридцать дней, – сказал я.

– Тридцать дней, – согласился он.

Млада стояла у окна и смотрела во двор – на тот двор, который некогда был полон людей, а теперь был полон тишиной. Она не оборачивалась. Она уже считала что-то своё, и в том, как она стояла, была та же Млада, что шила кафтан три ночи и улыбалась, пока он был готов.

– Не решится же, – сказал я, и это прозвучало не как уверенность, а как вопрос.

– Бельские всегда решаются, – ответила Млада, не оборачиваясь. – Это их главное достоинство. Они решаются всегда, пока другие думают.

Она права. Это я знал и без неё.

Я взял бумагу со стола. Посмотрел на неё. И понял, что вижу – не слова, не требования, а нечто под ними. Шов. Не в тексте – в самом предложении, в его устройстве. Там, где Бельские дали себе выход, – и там, где они этот выход пере-

тянули слишком туго.

Они думали, что ставят мне выбор.

А выбора не давали ни в одном из двух вариантов.

Это была ошибка. Не большая и не заметная – но ошибка.

Зарь её видел.

– Тридцать дней, – повторил я, откладывая бумагу. – Знает, есть тридцать дней.

Тихомир поглядел на меня с тем выражением, с каким смотрит человек, который ещё не понял – то ли ему радоваться, то ли тревожиться.

– Ты что-то надумал, – констатировал он.

– Думаю, – ответил я. – Пока думаю.

– «Думаю пока» – это не ответ.

– Это лучше, чем «думаю никогда».

Он хмыкнул. Это был, кажется, первый раз за три дня, когда он хмыкнул. Короткий звук, почти ничто – и всё же что-то. Тёплая мелочь. Дешёвая, почти незаметная – и нужная, как глоток воды в длинный день.

Но бумага лежала на столе.

И тридцать дней – это было меньше, чем надо, и больше, чем ничего.

* * *

Той ночью я долго не спал.

Думал о том, что такое «зарь» в мире, где силу меряют Кро-

вью. Не победа. Не свет. Не слава рода, горящая в камне, как у Светловых или Бельских.

Пустота. Гашение.

Но в мире, где все огни наследные, только пустота не горит и не тлеет. Только пустота не имеет шва, за который можно потянуть.

Камень Совета не солгал. Во мне правда нет Крови в том смысле, в каком Навь понимает это слово.

Но у того, против кого нет оружия, есть своё преимущество: ему незачем бояться, что оружие найдут.

Это была не мудрость. Это было начало расчёта.

Заряновы никогда не жили в достатке знания.

Только в достатке необходимости.

Тридцать дней.

Глава 3. Достоинство в нищете

Тихомир подал мне кафтан молча – так подают оружие перед выходом.

Тот же перешитый, что был на мне в Тереме. Млада хотела перебрать ворот – раздобыла откуда-то обрезки хорошей ткани, я не спросил откуда, – но я отказал. Когда идёшь к тому, кто знает твоё положение лучше, чем ты сам хотел бы признавать, наряжаться – значит объявить, что тебе есть дело до его мнения. А мне не должно быть дела. По крайней мере, не больше, чем ему до моего.

Я надел перстень – последний из родовых Заряновых. Серебро, тронутое чернью. На щитке – заря: лучи из точки, первый свет первого утра. Прадедовский, судя по потёртости. Мелкий, почти неприметный. Но наш. Это кое-что значило.

Я нажал большим пальцем на щиток – и почувствовал то, что стал чувствовать три дня – с самого Терема: тепло. Едва уловимое, как луч сквозь плотную занавесь. Тихомир сказал – не трогай, пока не разберёшься. Что трогать – не уточнил. Я трогал перстень и молчал.

– Стой ровно, – сказал Тихомир, поправляя плечи кафтана. – Одежда держит тебя, когда ты её носишь правильно.

– Знаю.

– Старая присказка есть. – Он отступил, оглядел. – «К то-

му, кто зовёт тебя под свою крышу: иди с чистым лицом, а не с крашеным».

Я не спрашивал, из какого времени. У Тихомира был особый способ хранить мудрость: он никогда не говорил «я думаю» – говорил «старая присказка» или «так раньше говорили». Неважно, что «так говорил» иной раз только он сам, давно и по какому-то своему поводу. Мудрость от этого не убывала.

– Это не их крыша, – сказал я. – Это пока ещё моя встреча.

– «Пока ещё» – мягкое слово для жёсткого дела, – сказал он. – Охрану брать?

– Нет смысла. Двое наших против дружины Бельских – не охрана. Повод для насмешки.

– И то верно. – Пауза. – «Один – значит, за тебя никто не сделает вид, что он тоже смелый». Иди один.

Это снова была присказка. Я решил однажды их записывать.

Я вышел один.

* * *

Ехать до Бельского поместья – час по дороге, которую я знал с детства. В детстве это была просто дорога. Теперь это были Бельские земли: откусили семь лет назад, пока отец болел и не успевал следить за всем одновременно. Следить за болезнью и за хозяйством одновременно нельзя. Это я понял

слишком поздно.

Осенний лес по обочинам стоял без торопливости. Я смотрел на него и думал: с чужой правдой не споришь словами. С ней можно только стать тем, что сделает её неправдой.

Я нажал на перстень. Тепло под пальцем.

Первое: понять, что у нас есть. Не чего нет – это я знаю наизусть. Что есть.

Второе: выслушать Бельского до конца. Злость – это когда теряешь счёт. Мне нужно считать.

Третье: найти шов. Потому что у каждой правды – у самой крепкой – есть шов. Я начал видеть это с того часа в Тереме, когда увидел шов в полымени Гордея и потянул за него, и всё рассыпалось. У силы есть шов. У уверенности есть шов. У закона, в который верит Горислав Бельский, – тоже.

Я просто ещё не знал, где именно.

* * *

Их усадьба стояла на холме. Сильные роды строятся на возвышении: не только потому что удобнее обороняться, но потому что к ним надо идти вверх. Ты уже на полсажени ниже ещё до порога.

Ворота каменные, с кованой решёткой. Дружинники в добром снаряжении, без голодного взгляда. Людям, которым платят вовремя, незачем смотреть попрошайнически.

Меня провели без задержки, через парадный двор к ма-

лым покоям. Конюшня большая, ухоженная. Яблони подстрижены, хотя яблоки уже убраны. Прочность. Всё сделано так, чтобы стоять долго.

У нас дома трава выбивала в щелях мощения. Не от небрежения – от нехватки рук. Слабость от лени и слабость от недостатка средств – разные вещи, хотя со стороны выглядят одинаково.

* * *

Горислав Бельский принял меня в малых покоях без лишних людей.

Длинный стол, крепкие кресла, окна в сад. Занавеси тёмного сукна – дорогие, но без крика. На столе – кувшин с мёдом и два кубка: готовился к долгому разговору.

Сам он был стар так, как стареют люди, знающие свою силу: без спешки. Широкие плечи, ещё не утратившие тяжести. Спокойное лицо человека, привыкшего выслушивать просьбы и в конечном счёте отказывать так, чтобы отказ казался разумным. Руки на столе – без колец, без украшений. Человек, которому нечего доказывать.

Гордея не было. Я отметил это с тихим облегчением, которое постарался не выдать.

– Радмир Зарянов. Рад, что ты пришёл сам.

– Вексель обязывал, – сказал я.

– Вексель обязывает к погашению, не к визиту. – Он раз-

лил мёд, придвинул кубок. – Мог прислать письмо. Мог тянуть до снегов. Пришёл – это говорит о тебе хорошо.

Я взял кубок. Не пить было бы жестом, а я пришёл не за жёстами.

– Положение вашего рода мне известно, – сказал Бельский ровно, как говорят о вещах, давно решённых в голове. – Долг вырос до предела. Земли кормят треть прежнего. Люди уходят туда, где платят. Имя держится больше на обычае, чем на силе. Камень на смотринах показал ноль. Гордей вёл себя не так, как следовало, – за это у нас с ним будет отдельный разговор. Но суть дела его поведение не меняет. Заряновы угасают. Это не обвинение. Это факт, как то, что листья опадают осенью.

– Двадцать лет угасаем, – сказал я. – Медленно.

– Медленно – не значит иначе. У меня нет удовольствия в этом. Я не жаден до чужого. Мой род поднимался через кровь, через союзы, через дело. Слабые роды уходят – это не наша жестокость, это устройство мира. Кровь либо несёт дар, либо нет. Если нет – роду приходит конец. Это не плохо и не хорошо. Это как зима.

Он сказал это без яда. И вот в чём была вся сложность: он и правда так думал.

– Я предлагаю выход, который для Заряновых будет наилучшим из возможных. Долг списывается. Земли отходят к нам, мы платим честную цену – по старой оценке, не по сегодняшней упавшей. Ваши люди получают место под Бель-

ским именем с сохранением прежнего положения. Твоя сестра выходит замуж за достойного человека нашего круга – с именем и обеспечением. Тебе – место советника с хорошим содержанием. Заряновы входят в состав нашего рода не как побеждённые, а как влившиеся. Имя уходит, честь – нет.

Он закончил, взял кубок. Смотрел на меня спокойно.

Это было щедрое предложение. Это было уничтожение. И он в самом деле думал, что предлагает нам милость.

Я смотрел на него и думал: у этого человека нет злобы. Есть уверенность, накопленная за жизнь, где правота подтверждалась снова и снова. Сильные поглощали слабых. Слабые исчезали. Мир стоял на месте. Всё правильно.

Враг без злости – враг без пути к примирению. Это делало его опаснее злодея.

– Достойное предложение, – сказал я.

Бельский едва заметно наклонил голову.

– Я его обдумаю.

Пауза.

– Времени немного. Вексель до первого снега.

– Знаю.

Я чуть повернул перстень на пальце – лучи на щитке к свету. Он следил за моей рукой. Я это заметил. И то, что он следил, – тоже.

– Позволь спросить.

– Слушаю.

– Ты говоришь об устройстве мира. О законе: слабые роды

должны уходить. Ты в это веришь – не как в правило, а как в закон природы?

– Как в закон, – сказал он просто. – Кровь либо несёт дар, либо нет. Этому сотни лет. Это держит Навь.

– Откуда ты знаешь, что в нас кровь не жива?

Первая пауза, которую он не выдержал ровно.

– Камень, – сказал он.

– Камень видит то, что умеет видеть, – сказал я. – А не то, что есть. Это не одно и то же.

Он смотрел на меня иначе. Не как на должника с предрешённым исходом. Чуть иначе. Почти незаметно – но было.

– Что ты имеешь в виду?

– Философию. Ничего большего.

Он помолчал, потом чуть расслабился.

– Философия – дорогое удовольствие для того, у кого вексель до первого снега.

– Возможно. – Я поставил кубок. – Благодарю за угощение и за разговор.

Я встал. Поклонился так, как кланяются равному: прямо, без унижения. Он ответил тем же. Форма была соблюдена с обеих сторон. Форма – единственное, в чём у нас сейчас было поровну.

– Жду твоего решения, Зарянов.

– Получишь, – сказал я.

Двор встретил холодным воздухом после тёплых покоев.

Слуга пошёл за конём. Я стоял и думал: Бельский уверен – а уверенный не торопится. Он не видит угрозы. Это время.

Что-то в нашем разговоре его насторожило. Едва. Вопрос о Камне. Он не ждал такого вопроса. Там, где не ждут вопросов, – обычно есть что спрашивать.

Третье...

Третьего я не додумал, потому что увидел его.

В тени под аркой ворот стоял человек в тёмном неприметном платье. Без знаков рода, без ничего выделяющего. Стоял так, как стоят люди, умеющие быть незаметными: чуть боком, лицо в полутени. Большинство гостей такого не заметили бы.

Я заметил.

Терем, три дня назад. Дальний ряд среди дознателей Совета. Взгляд, отличавшийся от всех прочих: смотрел не туда, куда смотрели все.

Велемир.

Он и сейчас смотрел на меня. С тем же вниманием – тихим, напряжённым, сосредоточенным. Не любопытством чужака. Узнаванием человека, который нашёл что-то давно искомое – или проверяет, то ли нашёл.

Слуга привёл коня. Я принял поводья, поднялся в седло

не торопясь. Велемир стоял неподвижно. Когда я тронул коня к воротам, он шагнул из тени – негромко, без призыва – и встал так, что мимо него надо было проехать.

Я остановил коня.

– Зарянов, – сказал он. Не вопрос. Имя, проверенное на слух.

– Велемир, – сказал я в ответ.

Он чуть поднял бровь – едва. Не удивился, что я знаю его имя. Просто отметил.

– Любопытное место для встречи, – сказал я.

– У дознавателей Совета много любопытных мест, – ответил он. – И мало тех, где им незачем быть. – Взгляд скользнул на мою руку. – Ты думаешь руками, когда ведёшь счёт. Хорошая привычка.

– Ты слышал разговор?

– Нет. Видел, как ты вышел. Как стоял. Как нажимал на перстень.

Это было странно – не угрожающе, а именно странно. Так говорит человек, который наблюдал давно и сделал выводы.

– Что тебе нужно, дознатель? – спросил я прямо.

– Пока – смотреть, – сказал он. – После – говорить. Когда ты будешь к этому готов.

– А когда это будет?

– Сам поймёшь. – Он отступил, освобождая путь. – До этого – береги перстень. И то, что он помнит.

Он ушёл обратно в полутьму арки.

Я проехал мимо, не оглядываясь. Но в спину было ощущение взгляда – всё того же, внимательного. Оно не отпускало, пока ворота Бельских не закрылись за мной.

* * *

Тихомир ждал у нашего крыльца – как всегда, будто только что вышел. Я давно знал, что это неправда: он стоял дольше. Такая у него была привычка – встречать тебя снаружи, где ты ещё идёшь, а не пришёл.

– Живой, – сказал он. Утверждение.

– Пока.

– «Пока» – хорошее слово. Оно означает, что дальше есть.

Я спешил и остановился во дворе. Смотрел на наш дом – так смотришь, когда побывал ненадолго в чужом. Плетень накренился с одного боку. Кровля конюшни держалась на заплатах. Ставня на дальнем окне висела криво.

Но дорожка к крыльцу была выметена. Дверь смазана – без скрипа. На пороге – чисто.

Это Млада.

Она делала то, что могла, с тем, что было. Не меньше, чем могла, – каждый день. Это не пустяк и не заслуга обстоятельства. Разница между двором, который бросили, и двором, где нечем починить, но подметают, – это разница между капитуляцией и чем-то другим.

– Что он сказал?

– Предложил выход. Назвал его достойным. – Я помолчал.
– Он верит в то, что говорит.

– Хуже нет, чем враг, который верит, – сказал Тихомир. Это был его собственный голос, не присказочный – тот редкий, которым он говорил о вещах по-настоящему. – Такой не остановится. Ему незачем. Он прав у себя в голове.

– Знаю. – Я вернул перстень на палец. – Нужна опись. Завтра с утра: что у нас есть. Не чего нет – что есть. Каждое поле, каждый человек, каждый договор, который ещё не в чужих руках.

– Это можно сделать.

– Ещё одно. Велемир. Дознатель Совета. Ты его знаешь?

Пауза – не незнания. Другая.

– Краем, – сказал Тихомир. – Из тех, кого не видно, пока не захотят. Официально – дознаватель по особым делам. По слухам – занимается тем, о чём Совет предпочитает не вносить в свитки.

– Сегодня он был у Бельских.

– Это нехорошо, – сказал Тихомир медленно.

– Или очень хорошо – зависит от того, зачем. – Пауза. – Он говорил со мной. Сказал, что смотрит. Что захочет говорить, когда я буду готов слушать.

Тихомир помолчал долго.

– Это либо ловушка, либо что-то совсем другое, – сказал он наконец. – Третьего здесь обычно не бывает.

– Вот поэтому и хочу знать заранее. Спроси, кого можешь.

– К утру, – пообещал он.

Я зашёл в дом. Дверь за мной не скрипнула.

* * *

Вечером я долго сидел у окна.

В доме было тихо. Тихомир ушёл раньше. Млада, судя по тишине за дверью, спала – или делала вид. Она умела выдавать отдых за покой так, что только вблизи замечалось, как не расслаблены у неё руки даже во сне.

Я держал перстень и думал о том, что Горислав Бельский был прав в одном: слабые роды уходят. Это правда в свитках, правда в истории Нави, правда, которую никто не оспаривает. Кровь угасала, роды растворялись в чужих именах, мир не останавливался. Всё так.

Но он был не прав в другом: в том, что это устройство – закон.

Закон держит, пока не видишь его шва. А у каждого закона есть шов.

Достоинство – это тоже цена. Не та, что назначают другие. Та, что платишь сам – когда мог бы не платить, и никто бы не осудил.

Вот в чём Бельский ошибался. Он думал: если Камень не видит дара – значит, кровь пуста, бороться незачем, надо принять достойный конец. Он был в этом уверен с той же прочностью, с какой в его усадьбе стоят стены.

Но Камень видит то, что умеет видеть.

Заряновы угасали двадцать лет по счётам и бумагам. По-настоящему – Заряновы выбирали не угасать. Каждый день, в каждом незначительном действии: выметенной дорожке, смазанной петле, перешитом кафтане. В сестре, которая держит на плечах то, что многие мужчины не удержали бы. В дядьке, который выходит встречать тебя заранее. Это не угасание. Это выбор – и именно это Камень не умеет видеть.

Снег был ещё далеко.

Я нажал на щиток перстня. Тепло под пальцем – слабое, почти неуловимое. Велемир сказал: береги то, что перстень помнит. Что именно – я не знал.

Собирался узнать.

До первого снега у меня было время. Немного. Но счёт был начат.

Это уже кое-что.

Глава 4. Старый двор

Усадьба Заряновых стояла на пригорке в трёх верстах от города, и с этого пригорка в ясный день можно было увидеть крыши Терема. Прежде, говорил Тихомир, этот вид считался привилегией: глава рода выходил сюда по утрам, смотрел на столицу и ощущал, что имеет к ней отношение. Потом отношение кончилось. Пригорок остался.

Я ехал со встречи с главой Бельских и смотрел на усадьбу с дороги, как привык смотреть на всё, что требовало оценки, – без скидок и без жалости. Что есть. Что нет. Что можно поправить и когда.

Дальний флигель просел кровлей – это было видно даже с дороги, потому что торчащие стропила чернели на фоне неба. Ограда в двух местах завалилась, и вместо неё стояли колья, кривые, как кривым бывает то, что ставят без времени и плотника. Сад за усадьбой зарос полынью: полынь не требует ничего, никуда не уходит и пахнет так, что мыши не заходят, – и в этом смысле была самым верным из наших хозяйственных приобретений.

Я ехал один. После поездок к Бельских всегда так – думать лучше в одиночку, пока усадьба ещё не приняла обратно.

Въехал в ворота.

– Стоит, – сказал Тихомир, оглядев двор с седла с тем выражением, с каким осматривают крепость после долгой оса-

ды. – Как старый ветеран. Весь в шрамах, но дышит.

– Нам больше ничего и не надо, – ответил я. – Пока.

– Пока, – повторил он и спешился.

Я остался в седле ещё на минуту. Считал. Конюшня – одна лошадь, Серый, которого мы вернули. Птичник – живой. По весне Млада восстановила, держат кур, есть яйцо. Погреб – запасы на две трети. Кладовая с инструментом – закрыта, ключ у Тихомира. Амбар – под замком Млады. Всё, что имелось, на месте. Всего, что имелось, было мало. Но это было не нуль.

Я слез с коня.

* * *

Встреча с Горелым – так мы называли главу Бельских промеж себя, за два пальца, спалённых на дуэли по молодости, – встреча прошла так, как я и ожидал. Не хуже и не лучше.

Он принял меня в малом зале, предложил взвар, был вежлив – той особой вежливостью, которую применяют с теми, кого не боятся и не уважают, но хотят сохранить в поле зрения. Говорил о «достойном пути»: передача земель, погашение долга через слияние рода, имя Зарянов сохраняется в третьем колене. Он называл это «милостью истории к слабым». Он в это верил – это было видно.

Я слушал, пил взвар и смотрел, как он смотрит на мой перстень.

Перстень на указательном пальце правой руки – серебряный, щиток с лучами рассвета, гнездо пустое. Камень, который там должен был быть, отец продал ещё до моего рождения. Дед носил камень на большом пальце, как полагалось главе рода; отец переставил на указательный, когда должно было стать лучше и не стало. Я надевал оправу на выезды, потому что форма обязывает, даже когда содержание ещё не готово.

Горелый смотрел на него. Видел: гнездо пустое. Видел: мы нищие, у нас нечего купить, кроме древнего имени. Это была правда, и я позволял ей говорить без слов.

– Ты подумаешь, Радмир, – сказал он напоследок. Не спросил.

– Подумаю, – ответил я.

Это тоже было правдой. Только о другом.

Думал всю дорогу домой. О том, что у Горелого нет причин спешить – долг висит, время на его стороне, Зарянов никуда не денется. О том, что Велемир, дознаватель Совета, которого я второй день замечал неподалёку – сначала в Тереме, теперь на торговой улице в ста шагах от ворот Бельских, – что Велемир не появляется там, где нечего смотреть. О том, что у меня есть, может быть, три месяца до того, как вежливость Горелого кончится и начнётся давление.

Три месяца не срок поднять род. Это срок начать.

Младу я нашёл в боковой комнате, которую она превратила в хозяйственную управу. На столе лежали три кипы бумаг разной степени ветхости – самые старые желтели у края, норовя рассыпаться, – рядом счёты, чернильница, два гусиных пера и кружка отвара, которую она, судя по виду, поставила час назад и не успела допить.

Она не подняла голову.

– Как прошло?

– Как ожидалось.

Кивок. Это означало: я тоже ожидала, поэтому пока ты ездил, я делала вот это.

Млада разложила передо мной три листа. Два – ветхих, с советскими печатями прошлого поколения. Третий – её рукой, чёткими столбцами без помарок.

– Восточный пруд, – сказала она. – Старая мельница у Берёзова оврага. Три деревеньки за ним – Малые Выселки, Гнедово и Горелово. Не спрашивай про название – в грамотах нет пояснений. По нашим записям – всё это земли Заряновых. Числятся с эпохи прапрадеда Ставра.

– Бельские при поглощении не взяли?

– Не взяли. Смотри – вот опись того, что они затребовали. Этих угодий нет. Либо проглядели, либо не сочли нужным спорить. Мелочь – деньги, потраченные на оформление,

больше, чем доход за год.

Я посмотрел на её столбцы. Пруд – шесть дворов ловят рыбу по аренде. Мельница – стоит третий год, мельника нет. Три деревни – две платили чинш мельнику как посреднику. Посредник умер, и теперь деньги просто никуда не шли.

– Евдоким из Гнедово умеет в мельничное дело, – сказала Млада. – Он же мне и рассказал. Жалованье посильное. К осени – мука. К следующей весне – доход.

– Покос за Гореловым не посчитала?

Она подняла голову.

– Я ещё не дочитала, – сказала она ровно.

– Прости. Стог с него уменьшит долг на треть при своемременном выкосе.

Молчание в три секунды. Потом:

– Я знаю.

Я вернул листы. Она взяла кружку и наконец выпила взвар – холодный, судя по выражению, с которым это сделала, – но не отрываясь. В переводе с её языка это означало: принято, понятно, к делу.

– Хорошая работа, Млада.

Она не улыбнулась – она никогда не улыбалась на прямую похвалу, считала это странностью. Но взяла перо и дописала столбцы до конца, включая покос.

До вечера оставалось несколько часов, когда во двор пришли.

Трое. Старосты – по виду, по тому, как держали шапки в руках, хотя погода была прохладная. Первый представился: Тимоха, Гнедово. Второй – Сила, Малые Выселки. Третий не назвался, только кивнул; Тихомир потом сказал, что это племянник Тимохи, пришёл для счёта.

– Пришли к Бельским, – сказал Тимоха, глядя в землю, а потом всё же на меня. – Те сказали: не наше дело. У нас на пруду с осени чужие рыбачат. По ночам ставят сети, рыбу берут, наши снасти режут. Мы узнали – пришлые, с дальнего берега. Говорят: тот берег теперь Заряновых, к вам и идите.

Я смотрел на него. Потом на Силу. Потом снова на Тимоху.

– Тот берег наш?

– По старым метам – ваш. Межевой камень стоит, я сам видел. Только грамоту давно никто не обновлял, и Бельские говорят: пока бумаги нет – не их дело. А раз не их, то...

– То вы пришли к нам, – сказал я.

Тимоха кивнул.

Я пригласил их пройти. Велел Тихомиру принести взвар. Тихомир принёс, поставил, встал у стены с таким видом, будто охранял переговоры между государствами.

– Расскажи про пришлых, – сказал я Тимохе. – Подробно. Когда первый раз появились. Что говорили. Грамоту показывали?

– Показывали. Но в руки не давали.

– Буква на печати?

– Бельских буква. Их знак.

Я помолчал. Смотрел на племянника, который записывал углём на лоскуте кожи.

Первое: пришлые ссылаются на Бельских и показывают их грамоту, но не дают в руки. Грамота либо поддельная, либо написана так, что прочитав её, Бельские могут от неё отказаться. Это называется: бумага на случай, не бумага как право.

Второе: западный берег пруда в старых метрах числится за Заряновыми. Бельские при поглощении его не взяли. Но пришлых туда отправили. Это не случайность.

Третье: Горелый проверяет, есть ли у Зарянова воля защищать своё. Не рыбу защищать – предъявлять права. Если промолчим – в следующий раз будут не рыбаки, а что-то крупнее.

– Ты сказал: Бельские отказались помочь, – произнёс я. – Дословно что сказали?

Тимоха думал.

– Что пруд – на нейтральной земле. И что разбираться не их обязанность.

– Нейтральная земля – это их слова?

– Их.

Я кивнул. Нейтральной земли в Нави нет – это не термин кодекса, это разговорная отмазка. Горелый знал, что берег наш. Поэтому и сказал «нейтральная» – не «наша», не «ваша». Дал себе пространство для отхода.

– Займёмся, – сказал я.

Тимоха поднял голову. Сила смотрел с недоверием – я уже понял, что он недоверчивый, не из вредности, а из опыта.

– Бесплатно? – спросил Сила.

– Нет. За чинш. По старому тарифу – как платили прапрадеду Ставрзу?

– Деду вашему, – поправил Тимоха. – Прапрадед был до нашей памяти. Дед брал справедливо.

– Значит, возьмём так же.

Я взял бумагу, достал перо. Написал грамоту: в регистрационную палату Совета, с родовой печатью Заряновых, с ссылкой на старые меты и межевой камень. Смысл был простой: пруд и оба берега числятся в родовых угодьях Заряновых со времён такого-то, поглощение их в опись Бельских не включено – что подтверждается документами. Любое несанкционированное рыболовство влечёт взыскание по кодексу Совета.

Кодекс в Нави – это не слова. Это институт, у которого есть руки.

– Отнесёте в палату, – сказал я. – Не к Бельским, не к кому-нибудь ещё – прямо в регистрационную палату. Скажете:

от Зарянова, земельное дело. Там запишут.

– А рыбаки? – спросил Сила.

– Когда в палате зарегистрируют и уведомление уйдёт Бельским – рыбаков уберут.

– Почему?

– Потому что официальный спор им сейчас не нужен. Это была проверка, а не захват. Горелый хочет знать, есть ли у меня воля держать землю, а не смотреть в стены. Когда узнает, что есть, – отступит. До следующего раза.

– А следующий раз?

– Тогда и разберёмся со следующим разом.

Сила смотрел на меня ещё секунду. Потом кивнул – один раз, резко, как ставят точку.

Тимоха встал, мям шапку в руках.

– Нам говорили про вас, – сказал он. – Говорили: Зарянов пустой. Без силы.

– Говорили, – согласился я.

Он посмотрел на перстень. На пустое гнездо.

– Не пустой, – сказал он и надел шапку на голову.

Они ушли.

Тихомир, стоявший у стены, проводил их взглядом и подошёл к столу.

– Это проще, чем брать засечный городок, – сказал он. – Там хоть понятно: вот стена, вот ворота, вот ты с мечом. А здесь – бумаги, слова, и неизвестно, кто победил.

– Тот, кого запишут в палате первым, – ответил я.

Он подумал.

– Это умнее, чем брать засечный городок, – поправился Тихомир. – Что само по себе плохо. Потому что когда берёшь городок – победа ясная, и её видно. А здесь они ушли, а ты сидишь и думаешь: победил или нет?

– Победил. Они сняли шапки.

– Хм, – сказал Тихомир. – Это достаточно?

– Пока.

Он кивнул и забрал пустые кружки.

Я остался за столом. Счёт был невелик – три деревни, права на пруд, грамота в палату. Но Горелый теперь знает, что я держу своё. Это стоило того.

Я покрутил перстень. Камень вернётся – когда оправа заработает его обратно. Форма прежде содержания.

* * *

Вечером Млада поставила на стол хлеб, яйца и квашеную капусту. Не скудно – но и не то, что должно стоять на столе дома, где прежде принимали гостей с Совета. Мы это знали и ни о чём не говорили: это было то знание, которое живёт само по себе, без слов.

Тихомир ел молча до конца – по его словам, говорящий жуёт плохо и думает хуже – потом отставил кружку и произнёс:

– В третьем году службы стояли за рекой. Зима, запасы

кончились через две недели. Воевода говорил: держимся, подмога придёт. Мы держались. Подмога пришла на пятой неделе. К тому времени нас оставалось четверо из шести десятков.

– Подмога всё же пришла, – сказала Млада без особого выражения.

– Пришла, – подтвердил Тихомир. – Воевода был прав. Мы держались слишком хорошо, чтобы дожидаться.

Пауза. Он долил взвара.

– Сейчас нас трое. Запасы есть. Подмога не идёт – и не нужна. – Он посмотрел на меня. – Это лучше.

– Намного лучше, – согласился я.

– Достаточно лучше, – уточнил он с видом человека, который считает, что «намного» – слишком оптимистично.

Млада убрала тарелки. Потом сказала, не поворачиваясь:

– Нашла ещё кое-что. Контракт с купцом Нестеровым – двадцатилетней давности, на прогон скота через наши земли. Нестеров умер, сын торгует. Контракт не расторгнут.

– Он или не знает, или молчит, – сказал я.

– Или надеется, что мы не найдём. Надо написать.

– Напишем с утра.

Тихомир проследил за этим разговором с таким выражением, будто наблюдал за двумя людьми, которые вместо меча взяли в руки кочергу и утверждают, что это тоже оружие.

– В моё время, – сказал он, – вопрос прогона скота решался иначе.

– Как? – спросила Млада.

– Прогнали скот – молодцы. Не прогнали – тоже молодцы, только с другой стороны.

– Нестеров торгует, – сказал я. – У него нет другой стороны. Ему нужна дорога.

– А тебе нужны деньги, – сказал Тихомир. – Это проще, чем война. – Он поднялся. – Пойду проверю двор.

Каждый вечер, по старой привычке. Двор не нападёт – но он всё равно ходил, потому что воин не умеет не проверять то, что ему поручено.

Млада домыла кружки. Я остался за столом с листами – теми, что она написала, и теми, что написал я сам.

Считал.

Три деревеньки – снова под рукой Зарянова. Пруд и берега – грамота уйдёт завтра. Контракт Нестерова – письмо с утра. Мельница – поговорить с Евдокимом. Покос в Горелово – нанять людей, срок приближается. К осени – мука. К весне – доход. Мало. Очень мало.

Но не нуль. А нуль был точкой, от которой я отсчитывал три дня назад.

Я подумал о том, что Горелый наверняка знал – или мог узнать, – что эти деревеньки за нами. И не взял. Потому что мелко, не стоит руки. А теперь они снова наши. Не потому что я сильнее Бельских. Потому что я смотрел туда, куда они не смотрели. Списанным не выставляют счёт – с них уже нечего спросить. Свой счёт они ведут сами.

Я убрал листы, погасил свечу.

* * *

Я вышел во двор за полночь – плохо спал с детства, когда слишком много думал, а думать было о чём. Ночь стояла тихая, звёздная, не холодная для начала лета. Тихомир в своей каморке при конюшне сопел ровно. Млада, должно быть, давно спала – она умела засыпать быстро, это было её умение выживать.

Я пошёл к дальней ограде. Просто так. Проверить, стоят ли колья. Посмотреть на звёзды. Дойти до края земли, где кончается пригорок и начинается лесная полоса Берёзова оврага.

Я дошёл до лесной полосы. И остановился.

«Зарь» – я уже так называл то, что проснулось во мне в Тереме, – «зарь» был тихий зверь. Не жёг, не кричал, не требовал: он просто смотрел. Видел швы в том, что другим казалось цельным. Дар, крепко завязанный, давал шов при нажиме. Воля, вложенная в слово, давала шов в точке убеждения. Один раз я увидел шов в кладке старой стены – и понял, что кладка осыпется следующей зимой, не раньше и не позже.

Тихомир об этом знал. Больше – никто.

Теперь «зарь» смотрел в лесную полосу и видел то, чего там быть не должно.

Не зверя. Не человека. Не чужой дар.

Шов.

Не человеческий и не родовой. Не тот, что я видел прежде. Ткань мира здесь – как старое сукно на свету: не лопнула, не порвалась, но истончилась так, что сквозь неё почти просвечивало что-то с другой стороны. Что-то – или кто-то – там пульсировало в той же тональности, в какой пульсировал «зарь» у меня под рёбрами.

Тянуло.

Не болью. Не страхом. Притяжением – как тянутся два края разрыва, которые помнят, что были одним.

Я сделал шаг вперёд. Потом – ещё один.

И заставил себя остановиться.

Первое: если бы оно хотело навредить – за ночь уже навредило бы. Оно тут не первую ночь.

Второе: ни в одном свитке Заряновых я не видел записей о таком на наших землях. Если было – либо скрыли, либо забыли. Обе возможности одинаково неудобны.

Третье: «зарь» тянется к нему. А «зарь» – это Кровь. Значит, истончение откликается на кровь Заряновых. На то, что мы есть, – или на то, что мы были до того, как нас начали забывать.

Я стоял у кромки берёзового леса, за которым что-то тихо пульсировало в такт моему сердцу, – и думал о том, что Бельские не взяли эти уголья. Что дознатель Велемир второй день крутится поблизости. Что истончение на родовой земле

– это не то, что случается само по себе.

И что кто-то, возможно, уже знает, что оно здесь есть.

Я постоял ещё немного. Потом повернулся и пошёл обратно в усадьбу.

Спал до рассвета. В эту ночь думать было уже не о долгах, не о деревеньках, не о Горелом. Думать было о том, что на нашей земле живёт нечто, которому нет объяснения в свитках, – и что это нечто признаёт меня так, как признаёт старый дом вернувшегося хозяина.

Это было тревожно.

И это означало, что земля Заряновых хранит что-то, чего Зарянов не знает. А это, в свою очередь, означало: кто-то знает вместо него. И я очень хотел понять – кто.

Глава 5. Первый из тех

Новость о Светлане привёз Тихомир рано утром – прежде чем я успел выйти из-за стола с бумагами. Я понял, что случилось, ещё до первого слова: дядька входил не так, как входят с обычными вестями. Он прикрыл дверь тихо – именно тихо, что порой громче хлопка, – и встал у косяка с той закаменевшей прямизной, с какой встречаются известия, требующие гнева, но не позволяющие его показать.

– Мельницу взяли, – сказал он. – Вчера к вечеру. Людей Бельского пришло пятеро. Светлан отказался уходить – говорил, ты сам его поставил, и бумаги у него есть. Руками его не тронули. Просто подожгли сарай с инструментом и ждали снаружи, пока не вышел.

– Светланиха?

– Вышла с ним. Внук у них там был, малой. Ночевали в поле. Сейчас у соседки.

Я отложил свиток.

Светлану было за шестьдесят. Он служил Заряновым сорок два года – знал ещё отца, когда тот был в силе, знал меня с пелёнок. Учил запрягать лошадь и снимать запруду перед паводком. Звал меня «соколиком» до тех пор, пока я не попросил его не называть меня так при других – мне было лет двенадцать, и я считал это гордостью. Сейчас я не знал, что об этой гордости думать.

Мельницу я вернул ему четыре недели назад. Это была первая земля, которую мы отвоевали обратно после долгого молчания – по старинному разграничению, найденному в отцовском сундуке, датированному за восемьдесят лет до первого векселя Бельских. Мельничный участок не входил в долговой захват: оговорён как промысловое владение, не пахотное, и долговая грамота Бельских его не покрывала. Это знал Тихомир. Это знал я. Это, видимо, знал и Гордей Бельский – потому что приказал сжечь инструмент, а не предъявить Светлану никакого документа.

Когда не на чём стоять по праву, стоят на страхе. Это старый метод. Надёжный, пока не встречает того, кому терять нечего.

Я поднялся. За окном стояло серое утро – из тех, что не обещают ни дождя, ни солнца. Такое утро ничего не решает само по себе.

– В Тереме-Малом завтра съезд, – сказал Тихомир. – Кречетов ведёт земельные разборы. Бельские будут.

– Знаю, – сказал я. – Мы тоже будем.

Дядька сощурился – незаметно, но я знал этот прищур с детства. Он коснулся пальцем рукоятки ножа на поясе: не угрожающе – так проверяют снаряжение перед вылазкой. Старая воинская привычка, не изжитая с десятилетиями мирной жизни.

– Хорошая диспозиция, – пробормотал он.

Я достал со стола сложенный вчетверо лист – старый, с

краями, потемневшими как чайная заварка. Грамота восемьдесят третьего года, заверенная ещё прадедом, подтверждавшая мельничный участок как неотчуждаемое родовое владение. Я убрал её за пазуху. Там ей было самое место.

* * *

Съезд в Тереме-Малом собирался в длинной зале с низкими сводами и тремя узкими окнами, через которые осеннее солнце давало больше теней, чем света. Боярин Кречетов – дальний родич Совета, человек грузный и медлительный, привычный слушать больше, чем говорить, – держал такие собрания раз в полгода: для земельных разборов, хозяйственных тяжб, мелких споров, которые не доходили до Большого Терема. Приезжало обычно дюжины две семей, все местные, все давно знающие друг друга.

Мы прибыли без опоздания и без спешки.

Тихомир держался за плечом – привычка старого воина, которому давно некого защищать, кроме меня. Млада – рядом, в тёмно-синем платье, единственном, которое ещё выглядело достойно: без лишних украшений, зато с таким видом, будто украшения были ниже её достоинства. Сестра умела носить нищету иначе, чем я. Она носила её как чужую неловкость, а не как свою одежду.

Гордей Бельский уже был там.

Конечно, был. Бельские не пропускали таких съездов –

это часть их метода: присутствовать всюду, где что-то решается, заранее обнести пространство своей тенью, чтобы потом казалось, будто решения принимаются сами собой. Он стоял у дальней стены с двумя своими людьми и, когда я вошёл, не подал виду, что увидел меня. Это тоже был метод. Не замечать неудобного, пока оно не начнёт говорить вслух.

Я занял место и стал слушать мелкие дела.

Потрава. Покос на меже. Спор о колодце. Обычная работа Кречетова – терпеливая, без спешки. Я не торопился.

Я уже всё просчитал.

Первое: Гордей отказался признать за мной мельничный участок ещё в разговоре с его отцом в третьем месяце. Значит, он знает, что правовых документов у него нет, и расчёт только на то, что я промолчу.

Второе: промолчать перед лицом Кречетова и свидетелями – значит принять потерю навсегда. У рода Заряновых нет права на молчание. У меня – нет.

Третье: если я поставлю вопрос по Кодексу, Гордею останется два пути: признать нарушение с возмещением или ответить судом крови. Он не признает. Не потому что не может – потому что не станет. При людях, которые знают, что при смотре нах я распустил его полымя голыми руками, – дать задний ход неудобному наследнику нищего рода невыносимо для его гордости.

Он выберет суд крови. Он уверен, что сила на его стороне. В этом и есть ошибка.

Когда Кречетов спросил, есть ли ещё тяжбы, я встал.

– Есть, – сказал я. – Дело мельничного участка на Заряновском тракте. У меня грамота.

* * *

Кречетов читал медленно. Один раз, потом ещё раз – нахмурившись так, как хмурятся, когда документ говорит то, что хочешь видеть меньше всего.

– Грамота восемьдесят третьего года, – объявил он без выражения. – Подпись удостоверена, печать цела. Мельничный участок оговорён как неотчуждаемое промысловое владение рода Заряновых.

Он поднял глаза. Гордей подошёл к столу. Взял грамоту – посмотрел дольше, чем нужно было для чтения. Положил обратно.

– Долговые обязательства Заряновых покрывают всю землю по тракту, – произнёс он ровно. – Мельница на тракте. Следовательно, входит в долговой захват.

– Мельничный участок не является пахотной землёй, – ответил я. – Он оговорён как промысловый. Грамота предшествует долговому договору на восемьдесят лет и вписана в дела рода до Бельских. – Я выдержал паузу. – Людьми боярина Гордея вчера вечером с участка изгнан Светлан, служащий роду Заряновых сорок два года, и уничтожен рабочий инструмент. В огне.

– Мои люди уточняли границы, – сказал Гордей. В голосе его была та лёгкая уверенность, с которой говорят о мелком административном недоразумении. – Недоразумение.

– Когда сжигают имущество и выгоняют старика с женой и внуком ночевать в поле, это называется по-разному, – сказал я. – Одно из слов – нарушение Кодекса чести в части неприкосновенности родового имущества.

Это было слово. То самое, которое произносилось редко и весило много. В зале стало тихо той особой тишиной, когда у присутствующих есть мнение, но высказывать его вслух никто не торопится: нарушение Кодекса чести оставляло только два пути – признание с возмещением и записью, либо суд крови. Кодекс иных путей не давал.

– Ты обвиняешь меня, пустокровный? – спросил Гордей. Без злобы, почти ровно. Это было хуже злобы – когда слово произносят не как оскорбление, а как описание.

– Я констатирую нарушение, – ответил я. – Прошу запись, боярин Кречетов.

* * *

Гордей мог отступить.

Признать недоразумение, вернуть Светлана на мельницу, возместить инструмент – это обошлось бы ему дешевле всего. Можно было даже обставить как великодушие сильного, маленькую уступку богатого рода. Никто бы не упрекнул.

Никто бы не запомнил.

Он не мог. Не потому что не умел – потому что при этих людях, в этом зале, сказать «признаю» наследнику умирающего рода, которого он видел «пустым» при всём Совете – это было выше его сил. Не его личных сил, которые у него имелись. Его родовой гордости, которая у Бельских была не меньше крови.

Бельские не уступали. Никогда. Это тоже часть метода – только обратная его сторона.

– Суд крови, – сказал он.

Тихомир за моей спиной чуть перенёс вес с одной ноги на другую. Один раз. Как перед выходом в поле.

Вышли во двор.

* * *

Двор Терема-Малого был невелик и мощён неровно – старым, кое-где просевшим камнем, с тремя берёзами у дальней стены, которые уже начинали желтеть по краям листа. Хватало места, чтобы встать в двадцати шагах друг от друга.

По Кодексу суд крови прост: оба выходят без оружия, только с родовым даром; свидетели стоят по краям; победил тот, кто сохранил дар в конце. Кречетов вышел с листом и пером. За ним потянулись все, кто был на съезде.

Я видел лица.

Старший из Лобановых – человек с рыжеватой бородой и

осторожным видом – занял место у берёз. Молодая боярыня Мещёрских держалась ближе к входу, сложив пальцы перед лицом. В дальнем углу двора, у стены, стоял немолодой человек в тёмном, которого я видел прежде один раз – после смотрин, среди дознателей Совета. Велемир. Выглядел случайным прохожим, которому некуда деть время. Это не обмануло бы и ребёнка.

Я встал на отведённое место. Расправил кафтан. Тот самый – перешитый Младой в третий раз, и снова без единого видимого следа перекройки.

Достоинство стоит дёшево, если уметь его носить. Этому нас пока ещё не разучили.

Гордей вышел напротив. Он был крупнее меня – всегда был, это никуда не делось. Дорогая ферязь. В ладонях его уже разгоралось полымя – медленно, с низким гулом, каким нагревается хорошая печь. Бельское полымя было известно в Нави: жаром брало за тридцать шагов, прожигало ткань, сбивало человека с ног одним ударом. Триста лет этим полымем Бельские побеждали на дуэлях чести. Триста лет им держали в кулаке тех, кто стоял поперёк дороги.

– Готов? – спросил Гордей.

– Да, – сказал я.

Он ударил.

Я увидел шов ещё прежде, чем полымя прошло половины расстояния.

Это всегда так. Сначала – зрение. Бельское полымя соткано щедро и размашисто, без особой тонкости: сила старинного рода, привыкшего давить весом, а не точностью. Нити воли и крови свиты в жгут, и узел их там, где Гордей вложил первую петлю. Я знал это место так же хорошо, как знают дорогу домой – потому что однажды уже шёл по ней, там, в Большом Тереме, когда это полымя летело в меня в первый раз.

Я потянул за узел.

Полымя рассыпалось на локте от меня – нитями, искрами, пеплом, без шума. Не погасло. Именно рассыпалось – как рассыпается плохо завязанный сноп, когда из него выдернешь один стебель. Жар, только что гревший кожу лица, пропал, будто задули свечу.

Двор замолчал.

Гордей смотрел на свои руки. Потом туда, где только что было его полымя. Потом – на меня.

Он собрал дар снова.

Я видел, как это далось ему: второй удар строится труднее, нити натягиваются с усилием, как вытягивают канат против течения. Полымя вышло меньше, злее, с хриплым гулом, ка-

кого первый раз не было, – как будто оно само чуяло, что что-то не так, и злилось на это.

Я распустил его тем же движением воли.

Второй пепел лёг поверх первого.

Боярыня Мещёрских не шелохнулась – только пальцы, сложенные перед лицом, побелели в суставах. Старший Лобанов переступил с ноги на ногу. Кречетов писал в лист, не поднимая головы. Чернила в его пере, должно быть, давно иссякли, но рука всё равно двигалась.

Велемир у стены смотрел на меня. Внимательно. Без восхищения и без страха – с тем ровным вниманием, с каким смотрят на вещи, которые нужно понять, а не поразиться им. Охотник, нашедший след зверя, которого считали выведенным под корень.

Он чуть склонил голову – еле заметно, как делают зарубку.

– Достаточно? – спросил Кречетов. Голос его был ровен с видимым усилием.

Гордей молчал.

– Достаточно, – ответил я.

* * *

Запись Кречетов произнёс без выражения, как предписывал Кодекс: суд крови в деле о мельничном участке рода Заряновых; сторона Бельских дар не применила; правота Зарянова принята. Поставил печать. Сложил лист.

Гордей всё ещё смотрел на ладони. Потом поднял взгляд.

Я ожидал ненависти – тяжёлой, привычной, из тех, что копят годами. Вместо неё увидел то, что хуже ненависти: первый, незнакомый страх человека, который не понимает, что с ним происходит. Страх пустоты там, где всегда была сила. Потерянность сильного, у которого отняли единственный язык, которым он умел говорить.

– Это нечисто, – произнёс он негромко. – Пустокровный не может гасить родовой дар. Это запрещённая Кровь. Это что-то другое.

– Запись сделана, – сказал Кречетов.

– Ты не понимаешь. – Голос Гордея поднялся. Та ленивая уверенность, с которой он привык говорить, – ушла. Я следил за этим так, как следят за уходящим льдом по весне: медленно, неотвратно, без возможности остановить. – Так не бывает. Это не природа. Ты думаешь, ты пустокровный по природе? Три поколения в Заряновых нет Крови – это не случайность. Кровь вашего рода гасили намеренно. Мой отец знал об этом. Совет знал. Был сговор.

Стало тихо.

Совсем иначе, чем прежде – не оцепенело и не удивлённо, а пронзительно. Так бывает, когда слово сказано и его уже нельзя взять назад, и все присутствующие в одно мгновение это понимают.

Я смотрел на Гордея. Он смотрел на меня – и в эту секунду понял, что сказал. По лицу прошло что-то, у чего не было

названия: так выглядит человек, который роняет что-то тяжёлое и не может уже поднять.

Я не ответил. Не потому что нечего было сказать, а потому что ответа не требовалось. Слова уже принадлежали не нам. Кречетов с его пером. Лобанов с его памятью. Боярыня Мещёрских с глазами, которые не закрываются. И Велемир у стены – с тем взглядом, с каким запоминают навсегда.

Люди Гордея тронулись к нему, взяли под руки. Он позволил им увести себя – молча, не глядя на меня. Двор начал расходиться.

* * *

Тихомир подошёл ко мне, когда свидетели уже расступились.

Встал рядом. Помолчал немного – тем молчанием, которое у него означало, что он всё видел и всё обдумал.

– Хорошая диспозиция, – сказал он наконец тем же ровным голосом, каким оценивал удачно взятую позицию на давних учениях. – Ветер попутный.

Это была его вторая оценка за два дня, и она прозвучала точно так же, как первая: с той же краткостью, с той же складкой в углу рта, которая означала у него удовлетворение, но объявлять о нём вслух было не в его обычае.

– Завтра везёшь Светлана обратно на мельницу, – сказал я.

– Уже послал человека. Ещё до съезда.

Конечно. Конечно, ещё до съезда.

Млада стояла чуть в стороне. Не подошла – дала пространство, как умела всегда: быть рядом, не мешая дышать. Наши взгляды встретились. Она не улыбнулась. Просто кивнула раз, коротко – тем кивком, каким люди говорят: видела, знаю, достаточно.

Этого мне было довольно.

Я убрал руку за пазуху и почувствовал под пальцами сложенную бумагу. Грамота восемьдесят третьего года. Лежала там, где должна была.

Первый из тех, кто встал у нас на пути, – Гордей Бельский – сегодня стоял при свидетелях с пеплом вместо дара и сказал вслух то, о чём следовало молчать.

Кровь Заряновых гасили намеренно. Три поколения. Сговор. Отец Гордея знал. Совет знал.

Я добавил это в счёт – не к расплатам, к вопросам. Кто заказал? Когда? Зачем гасить дар рода, которого уже и так почти не осталось?

«Списанному не выставляют счёт, – говорил Тихомир, когда я был мальчишкой и не понимал ещё, зачем он повторяет это снова и снова. – Списанный его ведёт».

Я вёл.

Осталось за кадром

Гордей Бельский – тем же вечером

Гордей прогнал людей, сказал, чтобы шли верхом. Кожанный верх кареты поскрипывал на ухабах тракта.

Он смотрел на ладони.

Полымя возвращалось – медленно, горячей точкой в крови, оно возвращалось всегда. Никуда не делось. Оно ушло только там. Только при нём.

Этот пустокровный взял его дар – дважды. Руками, которые для этого не созданы. Кровью, которой по свитку Совета нет.

Гордей понял ещё на дворе, когда слова уже вышли, что сказал лишнее. Отец упомянул этот договор один раз – давно, вскользь, в разговоре, которого Гордей тогда почти не слушал. «Заряновы не поднимутся. Это решено не нами».

Теперь Кречетов вписал это в лист.

Теперь Велемир слышал.

Теперь – этот пустокровный знает.

Гордей сжал кулаки. Полымя под ладонями горело ровно. Послушное. Привычное.

Совершенно бесполезное.

Глава 6. Велемир

Первое правило того, что Тихомир называл «искусством слушать тишину», гласило просто: когда человек говорит в ярости – записывай. В ярости не лгут. В ярости произносят то, что тщательно молчали в спокойствии, то, что хранилось за семью запорами и не должно было выйти наружу никогда.

Гордей Бельский умел молчать. Четыре месяца он давил нас тихо, методично, без единого нарушения кодекса – так, как давят те, кому не надо торопиться, потому что время работает на них. Бельские это умеют. Это их особый навык, отточенный поколениями: терпение хищника, у которого добыча никуда не денется.

Но когда его дар рассыпался пеплом у дознавателей Совета, при всех свидетелях, которых он сам же и избрал, – что-то в Гордее сломалось. Я видел, как это происходит: сначала ярость перехватывает горло, потом приходит тишина ярости, а потом – слова, которые человек никогда бы не сказал иначе.

«Думаешь, пустота сама по себе сделалась?» – сказал он при всех ещё там, на дворе, когда его уже уводили. – «Думаешь, Заряновы просто так угасли?»

Я не обернулся. Достоинство – это в том числе умение не подбирать то, что швырнули тебе вслед в надежде поймать на оглядку.

Но я услышал.

И с этими словами не спал почти до рассвета, сидя у окна нашего обветшалого терема – там, где рама давно перекосилась, и сквозь щели тянет ночной сыростью. Слушал, как Тихомир ходит по двору: старый дядька не мог усидеть даже когда угроза миновала, потому что так привык делать ещё при прежнем господине и не разучился при нынешнем. Слушал, как Млада за стеной тихо перелистывает свои счётные листы – она вела счета по ночам, держала нити хозяйства в кулаке, и в этом шелесте было что-то устойчивое, вроде того, как устойчив берег, пока река не вышла из берегов.

Думал о слове «сговор».

У слова «сговор» есть то же устройство, что у всякого узла: есть нить, которую потянешь – и всё распустится. У меня есть дар видеть нити. Надо было только найти, за какую тянуть первой.

Я потрогал пуговицу на кафтане – старую, потемневшую, с выбитым на ней зарянским знаком рассвета. Матушкин подарок, из тех времён, когда ей было что дарить. Металл давно потускнел. Но знак не стёрся.

Я убрал руку.

*

Велемир прислал мальчика на третий день.

Не с письмом. Мальчик сказал только: «Боярин просит встретить его у Южных ворот Терема в час, когда петухи замолкнут» – и ушёл прежде, чем я успел спросить, чей имен-

но боярин. Хотя ответ я знал уже в ту же секунду, когда слово «дознатель» само встало в голове.

Велемир. Серый человек в неприметном кафтане, тот, что стоял на смотринах в дальнем ряду и смотрел не на Гордея – на меня. Тот, что склонил голову, когда наши взгляды пересеклись через весь зал, – будто делал пометку в каком-то своём, никому не видимом свитке.

Тихомира я предупредил, сказав ровно столько, сколько считал нужным.

Старый дядька помолчал, пожевал губами.

– Дознатель Совета, говоришь, – произнёс он. – Значит, учуял.

– По всей видимости.

– Значит, то, что ты сделал с Гордеем, он видел иначе, чем все прочие. – Тихомир поднял взгляд. – Не «пустокровный победил», а «что-то интересное случилось». Такие люди за словом «интересно» наблюдают годами.

– Я понимаю это.

– Хорошо, что понимаешь. – Он помолчал. – Тогда иди. Только держи вот здесь. – Старик постучал себя по груди, туда, где у человека живёт что-то умнее слов. – Велемир умеет давать советы так, чтобы ты думал, будто сам додумался. Это не плохо само по себе – дурные советы так не подают. Но знать надо.

– Разберусь.

– Разберёшься, – согласился он с видом человека, кото-

рый соглашается не потому, что верит, а потому что других вариантов нет и лучше уж верить.

И добавил, уже в спину, когда я надевал кафтан:

– Если к рассвету не вернёшься – буду думать, что ты в трактире. Это единственное, что позволит мне не беспокоиться.

– В трактире с дознаателем Совета.

– Ну, мало ли. – Тихомир пожал плечами. – Говорят, он умеет быть в нескольких местах сразу.

*

Южные ворота Терема выходили в переулок, у которого давно не было имени. Бывают такие места – некогда что-то значившие, потом оставленные официальными маршрутами. Сюда не ходили с делами, которые нужно записать. Сюда приходили с теми, которые нужно было не записывать.

Велемир стоял у стены. Простой кафтан цвета ночного неба – такой, что и не запоминается, и не бедный, и не богатый. Ростом невысок. Лицо из тех, что забывают через час, – не потому что некрасиво, а потому что намеренно составлено из неприметных черт, как некоторые люди умеют быть незаметными в любой толпе.

Обернулся, когда я подошёл, – без спешки.

– Радмир Зарянов, – сказал он. Не вопрос. Констатация человека, который давно знает то, что называет.

– Велемир, дознаатель, – ответил я так же. – Вы ждали.

– Я знал, что придёте, – поправил он. – Это несколько раз-

ные вещи. – Небольшая пауза. – Присядем.

Скамьи в переулке не было. Он имел в виду ступени – выщербленные, влажные от ночного тумана. Я сел без промедления. Он – рядом, на тот же мокрый камень, без той аристократической брезгливости к простому, которую я привык видеть у людей Совета. В этом тоже было что-то сказанное – и я заметил, и он знал, что я замечу.

– Вы знаете об истончениях? – спросил он.

Я знал. На родовой земле Заряновых, на восточном выгоне, что-то изменилось месяца два назад, когда я начал понемногу понимать свой дар. Стало не так. Когда проходишь мимо – ощущение, будто идёшь мимо двери, за которой стоят и молчат. Молчат пристально, терпеливо, с таким вниманием, какого не бывает у случайных. Я не говорил о том никому – не потому что боялся, а потому что не было слов. Когда подходил к тому месту специально – видел иначе, чем везде. Ткань мира там истончалась до одного слоя, и сквозь него просвечивало что-то очень старое.

– Знаю, – ответил я. – Одно. Восточный выгон. Появилось, когда я начал... упражняться в даре.

– Два, – поправил он тихо. – Второе под полом старой клетки, у северного угла. Не заметно без особого внимания. Моложе первого на три недели. Вы бы его нашли, если бы прошли ближе.

Я посмотрел на него.

– Откуда вы знаете?

– Потому что я хожу за ними двадцать лет. – Ни гордости, ни жалобы. Просто факт, давно ставший частью жизни. – Источения не возникают на пустом месте, Зарянов. Они возникают там, где есть – как бы точнее – определённое свойство. Где есть тот, кто видит швы.

Туман над переулком стоял тихий, без движения. В такой тишине слышно, как слова ложатся в воздух и остаются там.

– Вы наблюдали за мной с первых смотрин, – сказал я.

– С первых смотрин, – подтвердил он без колебаний. – Когда полымя Бельского разлетелось пеплом, не долетев до вас, – я понял, что смотрю. – Он помолчал. – Вы знаете, что вы такое, Зарянов?

– Мне говорили «пустокровный», – ответил я.

– Нет, – отказал он мягко, без наставничества. – «Пустокровный» – это слово тех, чьи инструменты не умеют читать вашу Кровь. Ваша природа иная – редчайшая, и потому инструментам незнакомая. – Голос у него оставался ровным, как та самая сухость пергамента, которую я заметил с первых слов. – В старых записях такой дар зовётся «зарь».

«Зарь». Это слово я уже слышал – от Тихомира, однажды и вскользь, без пояснений. Тихомир умеет называть то, о чём не намерен говорить подробно. Именно поэтому я сейчас понял: он знал о природе дара – но не обо всём.

– Тихомир упоминал это слово, – сказал я. – Но не источника.

Велемир посмотрел на меня иначе, чем прежде. Не пере-

оценивая – уточняя.

– Значит, он знал о природе. Но не о следах. – Голос стал суше. – Именно это меня и интересует в вас, Зарянов. Не то, что вы такое. А то, что вы оставляете после себя.

– Три поколения назад о заре помнили, – продолжил он. – И боялись. А потом – перестали.

– Не перестали, – сказал я.

Велемир посмотрел на меня.

– Гордей в ярости что-то выдал, – произнёс он без вопро- сительного знака.

– Намёком. Но достаточно.

– Значит, правда. – Он снова отвернулся к стене, и я ви- дел, как по лицу прошло что-то – не удивление, нет. Что- то вроде тихого удовлетворения того, кто двадцать лет под- тверждает одно и то же и наконец получает ещё одно под- тверждение. – Я ищу свидетельства этого давно. У меня есть понимание – кому было выгодно погасить дар рода, который видит швы мира. Есть косвенные знаки. – Голос стал ещё су- ше. – Доказательств, которые примет Совет, нет. Пока.

– Вы хотите союза, – сказал я.

– Я хочу, чтобы вы понимали, – поправил он твёрдо. – Союзы строят на понимании, а не на нужде. Сначала – по- нимание. Источения на вашей земле нарастают, Зарянов. Медленно, но нарастают. Через год их будет четыре. Через три года – больше. Это не рок и не проклятие. Это следствие того, что в вас проснулось то, что должно было молчать. Тот,

кто гасил вашу Кровь, знал об этом лучше, чем знаете вы.

– Меня должны были устранить, – сказал я.

Ровно. Как говорят о том, что уже переварили за ночь, пока лежали с открытыми глазами.

– Или дар должен был остаться погашенным навсегда. – Велемир коротко прикрыл глаза. – Гордей Бельский не знает, что сделал, ударив вас тогда. Он дал вам шанс – потому что угроза смерти разбудила то, что иначе могло дремать до конца ваших дней.

Мы помолчали. Туман сделался плотнее. Где-то за стеной Терема гулко ударил засов – и эхо раскатилось по переулку и замерло.

– Что такое истончения? – спросил я наконец. – По существу.

Велемир долго смотрел на мощёный камень под ногами.

– Швы, – сказал он. – Но не в людях и не в родовых техниках. В ткани самого мира. Навь состоит из слоёв, Зарянов, – как плотная ткань из нитей. И в некоторых местах эти слои истончаются до прозрачности. До того, что за ними что-то просвечивает. Или кто-то. – Пауза. – Я двадцать лет смотрю в эти места и не могу сказать, что именно там.

– Но думаете, что я смогу, – сказал я.

– Думаю. – Он поднял на меня взгляд – прямой, без украшений. – Потому что вы видите швы иначе, чем видел кто-либо из тех, за кем я следил прежде.

Я не ответил сразу. Думал о выгоне. О том ощущении

взгляда из-за тонкой стены – пристального, очень спокойно-го, очень старого. Не угрозы. Не зова. Чего-то, чему не было слова в том языке, которому меня учили.

По ту сторону истончений кто-то стоит и смотрит.

Это я уже знал. Теперь знал и то, что кто-то знал об этом двадцать лет – и только сейчас нашёл человека, который, возможно, сможет посмотреть в ответ.

Велемир встал. Движение ровное, спокойное – человека, у которого разговор завершился ровно там, где планировался.

– Последнее. – Он расправил кафтан. – Тот, кто гасил вашу Кровь, боялся не того, что вы сожжёте чей-то дар. Это было бы неудобно, но поправимо. Они боялись того, что вы увидите. – Взгляд. – Не что именно – я не знаю. Но что-то по ту сторону тех истончений. Что-то, что нельзя позволить увидеть. Думайте об этом.

– Буду думать.

– Я дам о себе знать. – Он уже поворачивался. – Скоро.

*

Я шёл домой через пустой город.

Небо над крышами стояло серым, ни ночным, ни рассветным – тем промежуточным, которое бывает только в самый глухой предрассветный час. Заряновское время, подумал я без иронии: всегда где-то посередине, между тем, что было, и тем, что ещё не настало.

Думал о плане.

Не о завтрашнем дне и не о следующей неделе – о пути

целиком. О том, как должно выглядеть всё: от этой вот точки до той, в которой Совет будет вынужден считаться с родом Заряновых. Не из страха. Не из жалости. Потому что иначе будет нельзя.

Из тени можно многое. Бить, не будучи увиденным. Отступать, не оставляя следов. Числиться меньше, чем ты есть, – и пользоваться этим.

Но я думал иначе.

Явно. При свидетелях. Через Совет, через кодекс – их собственным оружием. Так, чтобы каждый шаг был на виду, каждая победа записана в те самые свитки, в которые три поколения назад кто-то вписал нашу пустоту. Пусть пишут новое поверх. Пусть смотрят. Пусть то, что сделали с нами, станет видно рядом с тем, что мы делаем теперь.

Я коснулся пуговицы на кафтане – той самой, старой, с потемневшим зарянским знаком. Почувствовал под пальцами холодный металл. Давно потускнел этот знак. Но держится.

Вот так и будем.

*

Тихомир сидел на крыльце.

Ждал – с видом человека, который решил не спать, потому что понимал: всё равно не получится.

– Жив, – произнёс он, когда я поднялся к нему. Не вопрос – проверка вслух того, что видел глазами.

– Жив, – подтвердил я.

– Ну и хорошо. – Он поднялся с кряхтением, которое у

него никогда не было жалобой – просто ежедневный отчёт тела. – Разговор был долгий.

– Полезный.

– Велемир умеет делать разговоры полезными, – сказал Тихомир. – Беспольных он не начинает. Время бережёт.

Мы зашли в дом. Млада ещё не спала – сидела с кружкой над своими листами. Когда я вошёл, подняла взгляд, убедилась, что я цел, опустила обратно. Это у неё вместо слов: если не смотрит дольше трёх секунд – значит, в порядке.

Тихомир поставил чайник. Молчал, пока не закипел. Разлил. Поставил кружку передо мной.

– Слышал нынче одно, – сказал он негромко. – Воротник с Терема сказывал – говорят, через три недели в Тереме будет Родовое испытание. Слёт наследников по воле Совета: турнир, кровавая проверка, новое местничество. Первым родам – первые места. Малым – очередь. – Он помолчал. – Нас не звали.

Я промолчал.

– Пустокровных на Родовое испытание не зовут, – продолжил Тихомир ровно. – Это против понятий: зачем пустому стоять рядом с одарёнными, только место занимать? Официального зова нет, и быть не могло.

Он обхватил свою кружку двумя руками. Смотрел в неё.

– Но вот что странно. Устав Совета говорит: «На Родовое испытание допускается каждый наследник, чей род несёт имя и чья кровь записана в реестре». Нашу кровь в реестре

не вычеркнули. Только написали «пустая». А написанное – существует. И право, из него вытекающее, по уставу тоже существует. – Пауза. – Это я узнал, пока ждал тебя.

Я смотрел на него.

– Ты нашёл это нарочно.

– Я просто помню устав. – Тихомир поднял на меня взгляд с выражением полнейшей невинности. – С тех пор, как ты был вот такой высоты. – Рука поднялась к его поясу. – Устав надо знать, Радмир. Особенно тот, который пишут сильные для сильных – потому что в таком уставе всегда найдётся дверь, которую они оставили для себя, а запереть с другой стороны не подумали.

Млада за своими листами не подняла глаз. Но кружку поставила чуть громче, чем нужно.

Это у неё тоже вместо слов.

– Если я приду незванным, – сказал я, – я буду на виду. Каждый ход – при свидетелях. Каждый проигрыш тоже.

– Да, – согласился Тихомир просто. – Зато и каждый выигрыш.

Я посмотрел в кружку.

Родовое испытание. Турнир наследников. Совет. Лучшие молодые роды Нави под одной кровлей – и пустокровный, пришедший без приглашения, с именем, записанным как «пустая» – как ноль. Каждый взгляд будет на мне. Каждое гашение – при свидетелях. Каждый шаг – в записях.

Я снова коснулся пуговицы на кафтане. Холодный металл,

потускневший знак. Не стёрся.

Меня не звали.

Именно поэтому я приду.

Потому что то, что делается из тени, боится тени. А то, что делается при свете, боится только тех, кто умеет гасить свет.

У нас свет гасить не умеют. У нас умеют его поглощать.

Больше в ту ночь я не думал о планах. Сидел,пил горячее, слушал, как Млада неспешно перелистывает счётные листы, как Тихомир негромко рассуждает о том, что завтра обещают дождь и надо бы починить желоб на северной кровле, – и впервые за долгое время что-то внутри стояло ровно. Не напряжённо, не тревожно. Ровно. Как стоит то, что уже решено и больше не требует пересмотра.

Кровь – не то, что тебе дали. Кровь – то, что ты не предал.

Желоб, подумал я. Надо действительно починить.

Глава 7. Без зова

Меня не звали на турнир родов.

Это я понял ещё до того, как список участников огласили перед Советом, – за неделю до начала, когда Тихомир принёс в усадьбу смятый листок с объявлением, и мы оба стояли над ним и смотрели на строку, в которой был указан порядок допуска. Наследники с подтверждённой Кровью. Родовыми печатями. Ранговой отметкой Реестра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.